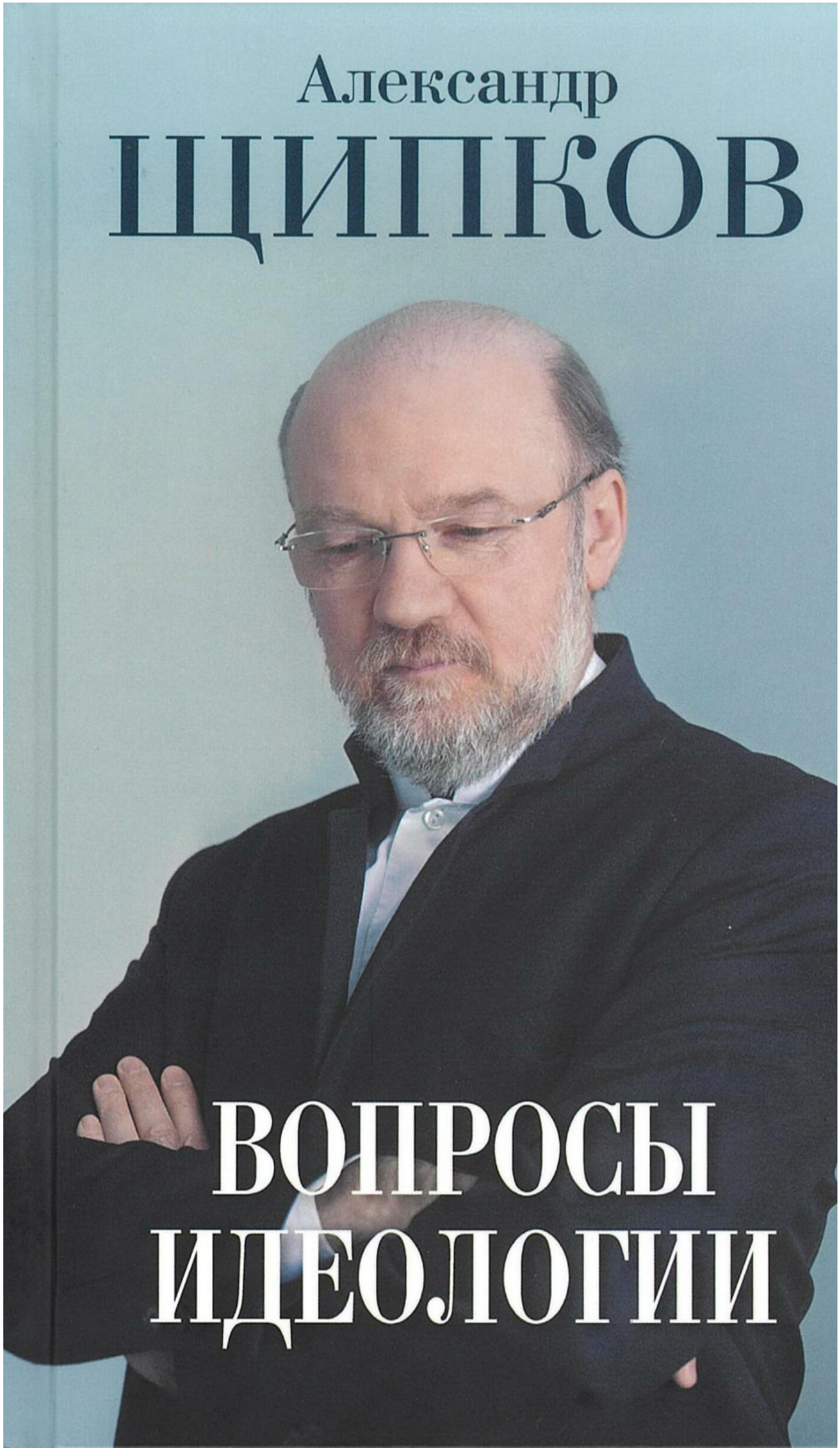


Александр
ЩИПКОВ

A portrait of Alexander Shipkov, a middle-aged man with a grey beard and glasses, wearing a dark jacket over a light blue shirt. He is looking down and slightly to the left, with his arms crossed. The background is a plain, light blue wall.

**ВОПРОСЫ
ИДЕОЛОГИИ**

Александр Щипков

Вопросы идеологии

«Автор»

2019

УДК 301
ББК 87.6

Щипков А. В.

Вопросы идеологии / А. В. Щипков — «Автор», 2019

ISBN 978-5-00111-362-1

Книга политического философа Александра Щипкова «Вопросы идеологии» рассчитана на внимание читателей, интересующихся состоянием современного общества и его идеологического пространства. Автор исследует ныне существующие идеологии, развенчивая советские и постсоветские стереотипы, связанные с этой темой. По мнению автора, свободной от идеологии социальной позиции не бывает, и утверждение, что сегодня в России нет никакой идеологии, является ложным. Современная «правлящая» идеология стремится замаскировать себя и предстать системой самоочевидных суждений. Поэтому вопроса «С идеологией или без?» не существует, зато стоит вопрос «Какую идеологию мы принимаем?». Книга предназначена для преподавателей и студентов светских и духовных высших учебных заведений, а также может быть использована для социальных исследований.

УДК 301
ББК 87.6

ISBN 978-5-00111-362-1

© Щипков А. В., 2019
© Автор, 2019

Содержание

Предисловие	6
Итоги XX века	12
История как общественный договор	12
Смысл революции	16
Магия чисел. 1917-2017	19
Нацизм	22
Тоталитаризм	24
Глобализм	32
Религия	36
Постгуманизм	36
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Александр Владимирович Щипков

Вопросы идеологии

Монография

© Щипков А. В., 2018

© Торговый дом «Абрис», художественное оформление, 2018

Стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее.

Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека

Предисловие

Состояние идеологического пространства

Сегодня вопрос «Что такое идеология?» интересует не только узких специалистов – политологов, философов, культурологов, социологов, лингвистов – и политически активных граждан. Он стал предметом интересов большинства.

В какой-то мере этот интерес подтолкнуло развитие информационных и медиатехнологий, а также блогосферы. В то же время формирование массового интереса к сущности идеологии в России происходит с опозданием. Ведь на Западе анализ идеологического пространства, символической власти и войны дискурсов в сущности приобрел особое значение в глазах общества еще до того как были написаны программные тексты на эту тему за авторством Джорджо Агамбена, Карла Шмитта, Жака Деррида, Роллана Барта, Пьера Бурдьё, Юлиуса Эволи, Рене Генона и других известных авторов.

* * *

Феномен идеологии – неотъемлемая часть культуры модернити. Социальная специализация идеологии связана с порождением особой картины мира, которая объясняет систему социальных отношений, создавая их вымышленный образ, своего рода социальный фантазм. Возможность сдвигов и изменений внутри этого образа нередко служит основой для идеологических спекуляций и манипуляций сознанием масс.

Существует большое количество определений идеологии, причем выбор одного из них в огромной степени зависит от идеологических установок выбирающего субъекта¹. Понимание природы идеологии есть не что иное, как идеологическое самоопределение говорящего.

Нередко говорят о «сконструированной реальности» идеологии, о ее манипулятивных возможностях. С точки зрения левой мысли, выработка идей всегда опосредована факторами власти, экономических интересов и классовой принадлежности, из чего следует определение идеологии как «превращенной формы сознания» или «ложного сознания», выражающего групповые интересы, выдаваемые за интересы всего общества².

Согласно Карлу Мангейму, идеология также представляет собой искаженный образ социальной действительности, выражающий групповые интересы – это «гигантская социальная макрогипотеза»³. При этом главная функция «идеологии», по Карлу Мангейму, – консервация, сохранение существующего порядка вещей. Прямая противоположность идеологии – «утопия», то есть система суждений, объясняющая необходимость смены этого порядка. Революционная утопия превращается в охранительную идеологию, как только такая смена действительно происходит.

¹ См., например: *Bell D.* The Coming of Post' Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. Harmondsworth, 1976; *Toffler A.* The Third Wave. 1980; *Castells M.* The Information Age. Oxford, 1996–1998; *Schiller H.* Information: A Shrinking Resource. The Nation, 28 Dec 1985 / 4 Jan 1986; *Habermas J.* Communication and the Evolution of Society. Hienemann, 1979; *Giddens A.* Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Cambridge, 1991; *Косолапов Н. А.* Идеология и международные отношения на рубеже тысячелетий // *Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталева М. А.* Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений. М., 2002; *Маслова Е. А.* Эволюция представлений об идеологии в политической теории. // *Международные отношения. Политология. Регионоведение. Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского.* 2011. № 6 (1). С. 315–319; *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1994.

² *Маркс К., Энгельс Ф.* Немецкая идеология. Критика новейшей немецкой философии в лице ее представителей Фейербаха, Б. Бауэра и Штирнера и немецкого социализма в лице его различных пророков // *Маркс К., Энгельс Ф.* Избранные сочинения. В 9 т. Т. 2. М., 1985.

³ См.: *Мангейм К.* Идеология и утопия. М., 1990.

Ханна Арендт рассматривала идеологию как прежде всего политическое орудие «тоталитарных режимов», претендующее на обладание «ключом к пониманию истории»⁴. Примерно в том же духе высказывался и Карл Поппер, критиковавший исторический взгляд на общество как «историцизм» с преувеличенными эпистемологическими притязаниями⁵.

Традиция «критики идеологии» XX в. в лице Ролана Барта, Мишеля Фуко и других ставит задачу исследовать идеологию в чисто функциональном аспекте, «говорить об идеологии без идеологии». Избежать идеологической нагруженности высказываний при этом, конечно, не удастся. Согласно Ролану Барту, идеология – это «вторичная семиотическая система», мета-языковой миф, паразитирующий на законах естественного языка и присваивающий его, определенным образом организованная коннотативная сфера высказывания, порождающая особого рода подтексты, «непрямые значения» и подвергающая их социализации (по сути та же самая опосредованность высказывания интересами социальных групп, что и у Маркса)⁶.

Мишель Фуко говорил о расщеплении любого знания на восприятие предмета, лежащего за границами дискурса, и оплотненный образ этого же предмета, конструируемый средствами описывающего его дискурса⁷. Промежуточную сферу между дискурсивным и недискурсивным (точнее инодискурсивным) планами восприятия как раз и заполняет идеология.

* * *

Сегодня многие проблемы изучения идеологического пространства вызваны тем, что смысл самого понятия «идеология» трактуется непозволительно широко – вплоть до «корпоративной идеологии фирмы Apple». Но когда ставится вопрос о социальной и социализирующей роли идеологий, это понятие нередко политизируется и рассматривается в том или ином произвольно выбранном историческом контексте, что вступает в противоречие с потребностями научно-теоретического рассмотрения и анализа. Поэтому одна из важных задач ближайшего времени – разграничение проблем идеологического генезиса (и связанных с ним процессов общекультурной динамики) и сиюминутных партийно-политических позиций, отделение одного от другого. Такова одна из актуальных тенденций в сфере идеологического.

Вторая тенденция в сфере идеологии – это самоопровержение возникшего в годы холодной войны стереотипа, согласно которому идеология якобы всегда декларативна, монолитна и внутренне согласованна, что она всегда опредмечена в рамках того или иного «катехизиса» – например, в рамках доктрины научного коммунизма, расовой теории или теории «открытого общества». Этот стереотип показал свою несостоятельность. Сегодня вполне очевидно, что концепции, построенные на таком допущении, принимают в качестве законов идеологии свойства ее конкретного типа, выдают частное за общее.

Между манифестацией и формированием идеологии, как выяснилось, нет линейной зависимости. Идеологогенез многолик и вариативен. Как вариативны и формы легитимации идеологий, отнюдь не сводимые к рационально-логической верификации. Суггестивные возможности идеологии в информационном обществе соотносятся прежде всего не с категориями истинности-ложности (научной или квазинаучной, как в эпоху СССР, или теологической, как в эпоху средневековой схоластики), а с категориями авторитетности-маргинальности. Отсюда, в частности, происходят такие понятия, как «новая нормальность» и инструменты воздействия на общественное мнение вроде «окна Овертона». В качестве примера можно привести историю с фейковым докладом о пытках в тюрьмах Сирии, опубликованным в 2014 г. газетой «Гар-

⁴ Arendt H. The Origins of Totalitarianism. San-Diego, 1999.

⁵ См.: Поппер К. Открытое общество и его враги. В 2 т. М., 1992.

⁶ См.: Барт Р. Мифологии. М., 2007.

⁷ См.: Фуко М. Археология знания. СПб., 2004.

диан». Авторитетность «Гардиан», накопленная по контрасту с куда менее солидными и уважаемыми изданиями, как раз и стала тем ресурсом, который позволил на время придать «вес» очевидной фальсификации.

Таким образом, авторитет и маргиналитет в поле идеологии конституируются посредством информационных ресурсов при условии контроля над производством информации. Это означает, что любой статус становится продолжением властных практик, реализуемых с помощью символических структур.

Третья тенденция связана с тем, что уровень рационально-критической проработки идеологий снижается, открытая и явная мифичность в составе современных идеологий растет, в соответствии с чем меняется и их язык. Объяснительная функция идеологии уступает место формированию некритичного, «неомагического» сознания, склонного к наивному восприятию политических идей и проектов.

Так, например, в рамках одного и того же идеологического дискурса можно различить субдискурсы для разных целевых групп с разной мифологической семантикой (например: неоязыческой для «низов», квазипротестантской для миддл-класса, гностической для элиты). Все они функционируют на разных орбитах идеологического дискурса, создавая различные типы ложного сознания. Аксиомы такого сознания, несмотря на их сциентистскую стилистику, связаны с глубинными уровнями культурной семантики. Например, критика давно отживших режимов и социальных моделей, которые якобы могут вернуться (угроза политического «реванша»), восходит к мифосюжету о «пробуждающемся Ктулху». Алармизм, связанный с реальной террористической угрозой (мотив демонического «врага рода») нередко оправдывает отступление от норм демократии и чрезвычайные методы управления.

* * *

Идеологичность, как и связанная с ней мифологичность, остается важнейшим принципом организации общества. Любая мировоззренческая позиция неизбежно попадает в поле той или иной идеологии. Умалчивание об этом – мнимое положение «над схваткой», которой соответствует фигура умолчания – в сущности, делает подобную позицию метаидеологичной, поскольку она претендует на понимание того, что является идеологией, а что – нет. Так, например, принцип светскости государства, будучи вполне идеологическим (ведь светскость – это идеология), получает статус «не-идеологии» и определяет мировоззренческие стандарты государства, парадоксальным образом соседствуя с принципом недопустимости «общеобязательной государственной идеологии». Это типичный пример легитимации без верификации в сфере идеологии.

Собственно говоря, задача любого идеолога как раз и состоит в том, чтобы прямо или косвенно представить свою позицию как «рациональную», «естественную», «позицию здравого смысла», а не как идеологическую. И наоборот, позицию противника представить как идеологическую, узкую и доктринерскую.

Пространство современной культуры панидеологично. У нас нет выбора: жить с идеологией или без нее. Есть другой выбор: та идеология или эта, одна или другая. И еще: можем ли мы отрефлексировать свою позицию, понять, внутри какой идеологии в данный момент функционирует наше мышление, на каком идеологическом языке мы говорим, чей набор символов провозглашаем.

При этом возникает естественная проблема: как предотвратить радикализацию и тотализацию идеологических конструкторов. Как защитить от них простое, «бытовое», «родное», традиционное, непосредственное, то есть коллективный культурный опыт, воспринимаемый в его целостности, подлинности, исторической устойчивости. Как, например, защитить от конструктивистской агрессии аутентичное, спонтанное, эссенциалистское восприятие культуры.

Как объяснить на уровне идеологии, что ценности, идеалы и их преемственность обладают куда большим историческим ресурсом, нежели сборка-разборка бесконечных культурных проектов.

Разумеется, идеологии могут подвергаться систематизации и классификации.

Институциональные, то есть устоявшиеся и принимаемые социальным большинством идеологии не являются доктринально завершенными, но способствуют трансляции от поколения к поколению ценностей и идеалов, культурно-исторического архива общества (например, православной этики и духа солидарности – для русской культуры).

От институциональных отличаются **неинституциональные**, узкогрупповые (они же элитаристские) идеологии, которые отражают в первую очередь интересы отдельных социальных групп, борющихся за привилегии и господство с другими такими же группами или противопоставляющих себя обществу – социальному большинству. В связи с этим говорят об идеологиях социальных миноритариев (например, олигархии, «креативного класса», бюрократии и т. п.).

Для таких идеологий характерна **ложная институализация** (восприятие узкогрупповых ценностей, идеалов и интересов как общих или привилегированных), а для формируемого с их помощью ложного сознания характерны признаки разных видов отчуждения, социального недоверия, склонности к сегрегации и мифам превосходства (например: «активная часть общества делает свой выбор» вопреки интересам «маргинального большинства», «быдла» и т. д.).

Одним из признаков неинституциональности идеологии является ложная социальная самооценка ее носителя. Например, он старается вести себя как представитель среднего класса или элиты, хотя уровень его доходов и потребления не соответствует критериям принадлежности к этим социальным слоям и стратам.

* * *

Институциональная идеология – причем институциональность во избежание влияния частных интересов определяется исходя из культурно-исторических оснований – представляет собой проекцию национальной традиции на нужды и вызовы сегодняшнего дня. Можно также сказать, что институциональная идеология – это самоописание национальной идентичности, ответ на вопрос: «Кто мы, что делаем на Земле и куда идем?», но ответ не абстрактный, а даваемый в контексте сегодняшних условий и обстоятельств, в рамках исторического «здесь и сейчас».

В известном стихотворении 1986 г. Александр Галич писал:

Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы,
Не бойтесь мора и глада,
А бойтесь единственно только того,
Кто скажет: «Я знаю, как надо!»
Кто скажет: «Идите, люди, за мной,
Я вас научу, как надо!»

Именно в такой логике строится неинституциональный – узкогрупповой, элитарный, политизированный – взгляд на идеологию. Но институциональная идеология отвечает не на вопрос «как надо?», а на вопрос «зачем?». После этого проблема «как надо?» решается по взаимному согласию, а не волевым усилием партийных вождей или финансово-олигархических групп.

Любая идеология неизбежно актуализирует набор оппозиций, формирующих пространство социального универсума: «добро – зло», «свой – чужой», «чистое – нечистое», образ героя и образ врага, образ истории и мировой культуры, образ человечества и его проблем, наконец,

собственный словарь. При этом именно институциональная идеология осуществляет рациональное использование данных оппозиций – **культурных операторов** – в перспективе общего национального будущего. Это создает и поддерживает в обществе **культурогенез** и **культурную динамику** – главные условия ориентации данного общества в потоке исторического времени, условия его самоопределения и осознания собственной идентичности. Неинституциональные идеологические модели, если они выдают себя за институциональные, поддерживать данный процесс не способны, поскольку не отражают национального мировоззрения, базовых общественных принципов и убеждений.

Институциональных идеологий в нормальной, не кризисной ситуации может и должно быть несколько. При этом они не должны подменяться господствующей идеологией-гегемоном вроде советского исторического материализма или современного неолиберализма. В то же время, не имеет реальных оснований и **идеофобия** – боязнь идеологической проблематики, недоверие к ней, в связи с чем рамки самого понятия «идеология» нередко зауживаются, а сам термин политизируется. Впрочем, эта боязнь, кажется, уже уходит в прошлое.

Институциональная идеология представляет собой не некую мировоззренческую полностью завершенную концепцию «под ключ», а определение общих базовых идеалов, целей и задач. Собственно говоря, это условие любой человеческой деятельности, как индивидуальной, так и коллективной. Определяются прежде всего безусловные моральные и цивилизационные табу. При этом проводятся границы идеологического дискуссионного поля: есть вещи обсуждаемые и есть действующий моральный ценз. Например, нельзя всерьез дискутировать с нацистами, но можно и нужно обсуждать тему неонацизма.

Участвуя сегодня в мнимой «дискуссии» с узурпаторами идеологического пространства, мы лишь поддерживаем господствующую ныне идеологию – неолиберализм – и неправомерно изымаем из условий общественной дискуссии необходимое требование моральной чистоты.

Идеологический диктат меньшинства над большинством недопустим. С признания этого факта должен начинаться любой разговор об общественных ценностях и любая публичная дискуссия.

Вполне очевидно, что любая институциональная идеология не призывает встать на чью-то политическую платформу и отринуть все остальные. В то же время есть границы допустимого в общественной дискуссии. Они не могут быть слишком узкими, но не могут быть и слишком широкими. Признак успешной институциональной идеологии – умение верно определить эти границы, исходя из потребностей и традиционных ценностей общества, создать поле общественной мысли, площадку, а не вывести некую доктрину.

* * *

Вопросы о возможном облике идеологии ближайшего будущего имеют особенно важное значение. Еще недавно эти вопросы принято было относить едва ли не к области футурологии. А сегодня их уже невозможно игнорировать: если общество не ставит эти вопросы перед собой, оно рискует оказаться на обочине истории. И дело здесь не только в выводах экспертов. Интуитивно эту ситуацию ощущает и обыватель. Он дезориентирован, не может разобраться в противоречивых потоках информации и сказать, что ждет мир хотя бы через неделю. Все это признаки существующего в настоящее время идеологического вакуума. Его существованием мы обязаны переходному состоянию социума, при котором старая идеология уже неэффективна, а новая еще не появилась.

Неэффективность идеологии связана с нарастающей архаизацией социальных систем. Ее признаки – штабная экономика, методы информационного контроля над обществом, утрата научно-критических ориентиров массовым сознанием, легализация и рост неонацизма.

Сегодня кратократические подходы все сильнее входят в противоречие с господствующими идеологическими концептами.

Эта ситуация мировоззренческого хаоса уже имела место в России на закате советской эпохи, теперь же она повторяется в мировом масштабе. И нам предстоит пережить еще одну, на этот раз мировую «перестройку», которая будет включать в себя трансформацию идеологического пространства и его господствующих трендов.

Замена экономики глобальной зависимости и ссудного процента другой, более человеческой и демократичной моделью, неизбежно приведет к появлению идеологических направлений, обслуживающих новую социально-экономическую реальность. Для такой модели потребуются идеологии, тяготеющие одновременно к социальному государству, традиционализму и усилению государственной «вертикали». Этот тренд уже получил ряд названий, таких как «новый этатизм», «социал-традиционализм», «левый консерватизм», «консервативный социализм». И данная тенденция будет противостоять набирающему силу ультраправому тренду, который является генетическим преемником неолиберализма. Остается надеяться, что духовная репатриация современного общества все же окажется возможной.

Итоги XX века

История как общественный договор

Споры о переписывании истории и единых учебниках будоражат общественность. Говорить на эту тему всегда несколько неловко, но и молчать невозможно. Завеса умолчаний становится только гуще, скрывая за собой ряд простых и очевидных вещей.

Главный вопрос: что такое история для обывателя, как с ней обходиться, как себя с ней вести. Оговорюсь сразу: создать железные правила обращения с историей просто невозможно, поскольку из всех гуманитарных наук как раз история и еще философия – самые «проблемные». Причем проблема лежит в самих основаниях этих дисциплин.

Историю чего именно мы изучаем? Какое именно прошлое? Ведь не может быть «истории всего», даже в отдельные исторические периоды. Одно дело история династий, другое – народных движений и революций, третье – экономических формаций, четвертое – правовых систем. Это четыре совершенно разные «истории». Их нельзя соединить в единый свод. И если в физике есть «единая физическая картина мира», то единой исторической картины нет и быть не может. Таким образом, говорить о единстве предмета исторической науки довольно сложно.

Возникнут проблемы и с верификацией – проверяемостью знаний. Дело в том, что до сих пор никому еще не удавалось выделить в истории «всеобщие закономерности». Хотя марксизм потратил много сил, чтобы их отыскать, а либерализм до сих пор старается навязать эти закономерности в виде неких «цивилизационных» критериев.

О прогностических возможностях историков даже и говорить неловко: кое-что, правда, поддается прогнозу, но лишь в предельно общих масштабах и далеко не всегда.

Тем не менее, история используется для того, чтобы объяснить человеку его место в этом мире. Это один из самых простых и испытанных способов, и менять его на другой никто не собирается. Именно поэтому история – одна из самых мифологизированных дисциплин. Ведь, как известно, летописи и исторические хроники переписывались заново при каждом князе – в угоду моменту. Увы, хотим мы этого или нет, но выражение «История – это политика, опрокинутая в прошлое» абсолютно справедливо.

Сделать историю политически и идеологически стерильной невозможно, следовательно, не надо разбивать лоб о невыполнимую задачу. Как известно, учебники, написанные по принципу «факты и только факты», проигрывают своим идеологизированным собратьям. Страдает системность изложения: запомнить материал, изложенный таким способом, почти невозможно.

А вот что действительно можно и нужно сделать, так это расставить приоритеты. То есть деконструировать те исторические мифы, которые мешают национальной идентичности, вредят национальным задачам.

Первый и главный миф, от которого стоит избавиться: будто бы в «цивилизованном мире» озабочены построением этой самой объективной истории, а мы хотим словчить и выбрать себе удобную. Чушь и глупость. Никто и нигде в мире ничем подобным не озабочен.

Например, понятие «нормализация истории» в Германии стараниями историка Эрнста Нольте используется давным-давно. Это делается для того, чтобы освободить национальное сознание немцев от травмирующего фактора Второй мировой войны – как от горечи поражения в ней, так и клейма нацизма. Понятие «переписывать историю» на Западе существует давно, но применяется только к оппонентам. Давайте примем во внимание этот *modus operandi* и осуществим несколько необходимых шагов.

Проведем ревизию национальной истории и посмотрим, в чем ее позитивный смысл и поступательное движение; исходные условия, цели и задачи.

Скажем честно, что история – это общественный договор, но не по поводу настоящего, а по поводу и прошлого, и настоящего, и будущего. Нам необходимо добиться общественного консенсуса по поводу собственной истории, а не мучиться вечными вопросами и неразрешимыми дилеммами.

Чтобы сформировать образ национальной истории, надо соединить в коллективном сознании разрывы национальной традиции. То есть собрать то, что уцелело, примирить враждующие идеологические группы, разделенные негативом исторических конфликтов. Перед лицом реальных вызовов недопустимо выяснять отношения между бывшими «белыми» и бывшими «красными».

У национальной истории должен быть четко определенный субъект. Этот субъект – народ, нация. Это приоритет.

Чтобы история народа-нации существовала прочно и долго, мы должны договориться о нашей идентичности. Поскольку история народа – это история людей, связанных общей идентичностью. С этого положения должен начинаться и этим заканчиваться любой учебник истории.

Идентичность определяется на основе «квадрата идентичности». Например: «русские = русское православие + русский язык + русская культура + общие исторические цели, знаковые события и фигуры». Разумеется, в многонациональной стране национальное не может быть сужено до этнического. Мы прекрасно понимаем, что Шойгу и Кадыров, какие бы у них ни были этнические корни, являются русскими и защищают именно русские интересы.

Важно определить роль нации в конфликтах. Например, четко настаивать на том, что в 1941 г. СССР был жертвой, а германский альянс (не только Германия, но и венгры-румыны-итальянцы-финны-норвежцы-японцы и др.) – агрессором. И, скажем так, у нас остались кое-какие претензии. Цифры ущерба хорошо бы обновить и опубликовать.

Мы не сможем привести в порядок свою историю, если не отречемся от явно антинациональных действий части российских элит. Например, нам необходимо признать: Беловежский сговор 1991 г. был национальным предательством и циничным попранием результатов референдума 1990 г., поэтому он юридически ничтожен. А сохранение советских границ с Украиной при уходе Украины из-под советской юрисдикции было актом аннексии русских территорий.

Сегодня самые политизированные исторические темы – это разделенный русский народ, нацизм и неонацизм, роль церкви в истории страны, итоги и причины войны 1941–1945 гг., советский период, в котором не хотят толком разбираться ни противники, ни сторонники СССР, и, разумеется, период 1990-х и «нулевых». Эти темы надо учесть в первую очередь в ходе анализа отечественной истории и при написании учебников.

Придется ответить и на вопрос, не принижают ли роль России на Западе. Принимают – именно потому, что эта роль потенциально высока. Причем на примере украинских событий мы лишний раз убедились: в мире есть лишь один самостоятельный игрок – США. Континентальная Европа не является самостоятельным политическим субъектом. У нее нет своей политики.

Это политический момент. Есть и идеологический. Россию недолюбливают политические элиты, потому что в России и отчасти в Восточной Европе не было периода Возрождения и Реформации. Это определило социокультурные различия. То есть средневековая культура не превратилась до конца в секулярный рационализм и институционализм. Элементы средневековой сакральности удалось даже внедрить в проект советского модерна. Эта наша особенность пугает европейцев как всякая альтернатива. Одно дело «чужие» монголы или китайцы,

другое дело – вроде те же европейцы, но иные, альтернативные. Это очень некомфортное чувство для европейцев – чувство расколотости своего коллективного «Я».

Да, феномен России болезненно сказывается на евроидентичности, давит на подсознание. Особенно мучительно это ощущение сейчас, когда Европа уже готова расстаться со своей христианской идентичностью, а Россия остается христианской и служит западным европейцам напоминанием о самих себе – настоящих. К тому же при таком раскладе Россия – если выживет, конечно – может стать единственным наследником подлинного европеизма. Западным европейцам это неприятно, и их вполне можно понять. Но это их проблемы, а не наши. Наше дело – исходить не из того, что мы «хотим в Европу» или «мы тоже Европа», а из того что «мы-то и есть Европа».

Разумеется, не всех устраивает такой исторический сценарий. При этом надо понимать: главная борьба за историю разворачивается все-таки не в учебниках, а в реальном мире. Уничтожение России путем распространения исторической неправды – естественное желание конкурентов. К сожалению, такой развал выгоден не только внешним противникам, но и тем внутрироссийским игрокам, кто хотел бы поживиться, распилив российское наследство точно так же, как распилили советское наследство в 1990-е.

Тут все просто. Если государство не платит интеллектуалам за национальные проекты, другие центры силы (внешние) будут платить за антинациональные. Конкуренцию в политике никто не отменял. Это не теория заговора, а всего лишь теория конкуренции. Конечно, одна из первых задач антироссийских сил – разрушить исторический консенсус и чувство русской идентичности. Без этого нация перестает быть нацией, а общество разваливается на глазах.

Должны ли мы сопротивляться этой тенденции и каким образом?

Да, разумеется. Мы должны договориться о базисных вопросах. И одновременно лишить статуса либеральную пропаганду. Ясно одно: не освободив «территорию истории» и пространство идеологии от сорняков, на ней невозможно ничего вырастить.

Не стоит вести бесплодный и бесконечный спор о том, где причины наших проблем: внутри или вовне страны. Это ложная альтернатива. Эти причины и там и там, они взаимосвязаны.

Подводя итог, скажем, что историк должен представить картину, из которой будет следовать единство традиции, идентичности, национальных целей и задач. Следует навсегда забыть такие выражения как «суд истории» и «коллективная вина». Это политическая риторика куда более низкого уровня, чем та, которая потребна историку. В истории есть ошибки и спорные решения, надо искать их причины и отвечать на вопросы «можно ли было их избежать» и «почему не удалось этого сделать». Никакие ошибки никогда не перевешивают национальные цели и национальные задачи.

Имеет ли право историк на свою интерпретацию событий? Ну, разумеется. Хотя бы потому, что точка зрения любого историка – это уже интерпретация. Ведь «объективной» истории не бывает. Так что это право одновременно и неизбежность. Но любой историк должен осознавать важность своей профессии, которая в этом смысле подобна профессии врача и учителя. Осознавать – и согласовывать свою деятельность с принципом общественного блага.

Но, конечно, поскольку истории вне идеологии быть не может, историку необходимо помочь – отменить нелепый конституционный запрет на «идеологию», а точнее, на национальные принципы и ценности. Если народ не сформулирует свою идеологию, он либо вынужденно примет чужую, либо будет жить по принципу «войны всех против всех».

И последнее. Крайне вреден для работы с национальной историей абсурдный тезис о «поисках национальной идеи». Поиски национальной идеи – глупость. Национальных идей много: это писанные и неписанные правила, по которым живет общество, но они выводимы из более общих понятий. Внятным должен быть образ традиции (внешний план) и идентичности

(внутренний план, субъективное переживание принадлежности к традиции), а также национальные цели и задачи. Все национальные идеи выводимы из этих понятий.

Главное, нужно помнить, что наука история, как и философия, должна не только объяснять, но и менять мир.

Смысл революции

Целый ряд признаков указывает на то, что мы находимся в самом начале, в точке отсчета мировой перестройки – процесса смены мировоззренческой парадигмы. Что мы имеем на мировом уровне? Углубление кризиса и начало демонтажа прежней системы отношений. Возможно, что от идеологии статусного потребления и неолиберальной глобализации мир начнет двигаться в сторону новой модели. Такой, которая сочетала бы в себе более справедливую социальную политику, поддержанную духом традиционных ценностей.

У России есть шанс выйти из того сумеречного состояния, в котором она находится много лет. Это, хотим мы этого или нет, вскроет глубинные пласты национальной памяти. И здесь наша задача – выработать взвешенный и конструктивный подход к собственной истории, который бы не разделил, а собрал и мобилизовал нацию.

Например, очевидно, что события, начавшиеся с Февраля 1917 г., – это национальная трагедия. Но она никому не дает права требовать от общества принятия доктрины «коллективной вины», «коллективного покаяния», отказа от идеала социальной справедливости и принятия каких-то политических императивов.

Анализируя смысл революций 1917 г., важно соблюдать три условия.

Первое. Пришло время посмотреть на XX в. с возрастающей временной дистанции и с учетом диалектики истории. Важна не только оценка деятелей и решений, но процессы формирования самосознания народа, которые шли и идут под влиянием событий XX в. Это главный предмет разговора.

Второе. События 1917-1990-х гг. следует рассматривать в контексте «большой» русско-европейской истории XX в., временн ая ось которой располагается между 1914-м и 2014-м гг., то есть в контексте мировых социально-расовых войн.

Третье условие. Только общество в целом, а не отдельные группы и «клубы» по политическим интересам, имеет право принимать легитимные общезначимые решения в рамках данной темы. Это, конечно, не исключает любых субъективно-личных взглядов на историю и свободы мнений по вопросам, связанным с темой XX в.

Теперь зададим вопрос: что такое 1917 г.?

События 1917-го привели вначале к национальному предательству элит и верхушечному перевороту, а затем к гражданскому расколу и войне внутри общества, распавшегося на «красных» и «белых». Но мы не можем забывать о том, что и с той и с другой стороны были представители части народа и война была братоубийственной с обеих сторон. Фактически мы имели в 1917 г. аналог русской Смуты 1605–1612 гг., когда разные лагеря боролись друг с другом, а дело закончилось иностранной интервенцией. Но в 1917 г. Смута не была вовремя остановлена общенародным консенсусом, как это удалось сделать во времена Минина и Пожарского. Успешная, но трагическая война 1941–1945 гг. лишь частично, но не до конца выполнила эту роль.

Новым этапом смуты стали события 1991 г. и распад СССР, в особенности его русско-славянского ядра. Поэтому, хотя 1991 г. идеологически противопоставляется 1917-му, объективно он является его продолжением.

Любая идеология становится «правильной» или «неправильной» в контексте определенных исторических обстоятельств. «Неправильность» чаще всего означает антисистемность, деструктивность. Советская модель была демонтирована именно в тот момент, когда возникла вероятность ее очищения от большевистского нигилизма и коммунистического догматизма, вероятность перезаключения союзного договора на новых идеологических принципах. Демонтаж страны осуществили представители коммунистической элиты, быстро сменившие полити-

ческую окраску – в ущерб народу, но в своих собственных интересах. Это позволило им переписать на себя и своих покровителей общенациональную собственность.

Иными словами, в 1991 г. имело место такое же предательство элит, как и в Феврале 1917-го, когда дворянская верхушка предала монарха и народ и объективно расчистила дорогу большевизму.

Большевики победили во многом потому, что сделали то, чего не смог или побоялся сделать царь – они опирались непосредственно на народ. На те самые 85 %, о которых так много сегодня говорят. И убийство Николая Второго с его семьей, каким бы преступным оно ни было, все же было убийством скорее конкурента, нежели классового врага, что бы там ни писала большевистская пресса.

Если отбросить идеологические догмы, становится понятно, что у событий февраля 1917-го и августа 1991-го, несмотря на показательную, но малоубедительную смену флага, одна и та же внутренняя подоплека. Она связана с антинациональной политикой, корыстными интересами элит и не имеет ничего общего с социальной справедливостью.

Главный итог событий гражданской войны XX в. – двойной разрыв национальной традиции. Разрыв семнадцатого года и разрыв девяносто первого осуществлялись людьми одного и того же склада, причем второй был прямым продолжением первого, и многолетние попытки идеологов и пропагандистов скрыть эту связь только ярче ее подчеркивают.

К сожалению, вероятность предательства элит существует в России и сегодня. Она растет по мере углубления мирового кризиса и расшатывания российской экономики. Верх в этой ситуации возьмет тот, кто сможет опереться на народ, на те самые 85 % Крымского консенсуса.

Сегодня мы можем с удовлетворением констатировать, что русская гражданская война, продолжавшаяся в сфере идеологии на протяжении советского и постсоветского периодов, в 2014 г. завершилась. Завершилась она национальным примирением. Это произошло потому, что народу был брошен исторический вызов, на который пришлось ответить всем вместе. Принцип партийности уступил принципу солидарности. Основой примирения послужил Крымский консенсус.

Освобождение Крыма, русское национальное и антифашистское интернациональное движения на Украине, сопротивление России политическому и экономическому давлению извне – все это создало закономерную ситуацию, когда бывшие «белые» и бывшие «красные» оказались перед лицом общего врага и встретили его плечом к плечу. Именно так, на пути общих испытаний, заканчиваются гражданские войны. Сегодня мы понимаем, что, несмотря на прежний исторический разрыв, у нас одна традиция и одни ценности. И как минувший разрыв был историческим поражением для обеих сторон, так сейчас мы можем говорить об общей победе. Крымский консенсус – это шаг в верном направлении, шаг необходимый, но, к сожалению, недостаточный. Чтобы не утратить первоначальный импульс, необходимо его продолжение.

Все это, разумеется, не отменяет ответственности конкретных лиц за конкретные деяния, совершенные в советское время, – в частности, за неправосудные политические приговоры и классовые чистки. Но это именно личная, а не коллективная ответственность. И она не накладывает на наших современников никаких дополнительных исторических обязательств. Мы осуждаем конкретных виновников, но мы не осуждаем ту или иную сторону конфликта. Главный вопрос: что делать дальше?

Важно признать, что принцип личной, а не коллективной ответственности есть залог прочности в деле национального примирения и преодоления разрывов национальной традиции.

Если говорить об исторических последствиях событий XX в., то первое, что необходимо учесть, – это неправомерность выделения «малой истории России» (1917–1991) из контекста «большой истории» (1914–2014) как нашей страны, так и всего мира.

Нет и не может быть никаких «априорных» ответов на трудные вопросы. Такие ответы действительны только в рамках общенационального консенсуса. Тем не менее, можно высказать некоторые соображения, которые не дают готовых ответов, но служат поводом для размышлений в рамках общественной дискуссии.

Необходимо объективное исследование исторического периода с 1914-го по 2017 г., его истоков и предпосылок с учетом как мирового контекста XX в., так и современности. Нуждается в серьезном переосмыслении идеология Февраля 1917 г., носители которой разрушили государство, объективно открыв дорогу большевизму. Февраль и Октябрь 1917 г. необходимо рассматривать как два этапа одного исторического явления.

Нельзя исключать события, происходившие в XX в. в России, из общемирового контекста, как нельзя и рассматривать их отдельно от современных исторических вызовов. В частности, надо учитывать, что коммунизм XX в. имеет не российское происхождение, он связан с идеологией радикального модерна и антидемократической идеей неограниченных социальных экспериментов, характерных для либерального мировоззрения.

Необходимо избавить общество от мифа «коллективной вины» и исторического алармизма, которые нередко используются, чтобы заставить людей отречься от идеи социального государства и от плодов Победы 1945 г. Автор идеи социального государства не Сталин, а этническая война 1941–1945 гг. была развязана не против «коммунистического режима», а против русских и дружественных нам народов, причем эта война получила продолжение в 2014 г. на Украине.

XX в. отмечен этническими чистками и военным террором в отношении ряда наций, включая русскую, которые сопровождали как Первую, так и Вторую мировые войны. Все это привело к страданиям людей, многочисленным жертвам, к исходу или изгнанию соотечественников за пределы Родины, а также к искусственному разделению единого русского народа и искусственной дерусификации православного населения.

Необходимо признать русских и дружественные им народы жертвами не только революционной (гражданской), но также этнической и социально-расовой войн. Необходима юридическая оценка геноцида русского народа и дружественных ему народов в XX и в XXI вв.

Если идеологию классовой ненависти к концу столетия удалось преодолеть, то идеология расизма получила продолжение и развитие в XXI в., как в старых, так и в новых формах. Идеи коммунизма и классовой войны сегодня уже не представляют непосредственной опасности, поскольку они не определяют идеологический мейнстрим и интеллектуальную атмосферу нашего времени. Тогда как идеи неонацизма, культурного и цивилизационного превосходства, социал-расизма до сих пор считаются приемлемыми и официально одобряются некоторыми политическими элитами. С этим положением мы не вправе мириться и обязаны ему противостоять.

Национальная история должна быть не яблоком раздора, а одной из основ гражданского консенсуса. Идеология этого консенсуса складывается в настоящее время, ее присутствие ощущается в общественной атмосфере. Необходимо ее окончательно сформулировать.

Магия чисел. 1917-2017

Магия чисел заставляет историков и публицистов сопоставлять 1917 г. с годом 2017-м. Находят немало общего и предупреждают от печальных последствий. Действительно, в современной политической ситуации много совпадений с событиями вековой давности: международная нестабильность, русофобская истерика зарубежных СМИ, нерешенные социальные проблемы, похожие «оранжевые» технологии, из которых самая заметная – оплата западным капиталом уличных беспорядков.

Попробуем составить небольшую сравнительную таблицу.

1917 Главными являлись вопросы о социальной справедливости, о земле и о завершении войны. Их нерешенность спровоцировала серию переворотов под внешним влиянием.

2017 Главными являются вопросы социальной справедливости, единой идентичности, единой идеологии, противодействия попыткам дестабилизации общества.

1917 Россия с 1914 г. находится в состоянии войны, которая ведется официально. Экономика, финансы и логистика страны несовершенны и не до конца справляются с потребностями фронта.

2017 Россия с 2014 г. находится в состоянии гибридной войны (санкции, дипломатическое давление, конфликты по периметру границ, терроризм)

1917 Россию и Германию стремятся посорить, хотя многие их интересы объективно совпадают.

2017 Россию и Германию стремятся посорить, хотя многие их интересы объективно совпадают.

1917 Россию стремятся вытеснить из Средиземноморского региона (бывшие византийские владения). Проект «Междуморье».

2017 Россию стремятся вытеснить из Средиземноморского и Черноморского регионов. Проект «Восточное партнерство».

1917 Украина оккупирована немцами.

2017 Украина – протекторат США.

1917 Общественное мнение патриотично и настроено в пользу «войны до победного конца» (кроме большевиков).

2017 Общественное мнение патриотично и настроено в пользу возвращения Крыма (кроме либералов).

1917 Актеры революции – часть крупного дворянства, часть буржуазии, либеральная интеллигенция.

2017 Актеры возможной революции – часть олигархата, часть среднего класса, либеральная интеллигенция.

1917 Монарх отказывается опираться на народ – основную часть своих подданных. В результате теряет власть и гибнет от рук большевиков.

2017 Вопрос открыт. Если власть перестанет опираться на народ и защищать его социальные интересы и национальные традиционные чувства, то возникает риск потерять поддержку в массах.

Эту таблицу можно расширять и находить все новые и новые аналогии между 1917 и 2017 гг. Сходство, безусловно, существует. Но любая аналогия условна и приближительна. В начале XX в. Россия пережила период декаданса, с которым нередко связывают ряд достижений в сфере изящных искусств («Серебряный век»). Но в общекультурном и духовном плане это было начало глубокого кризиса – и не российского, а мирового. XX в. это доказал, разродившись революциями, нацизмом как новой формой колониализма, двумя мировыми войнами, созданием и применением оружия массового поражения. Это был глубокий социальный и нравственный надлом, причиной которого стало выпадение Запада и России из христианской парадигмы развития. Это был апофеоз модерна, который стал началом его саморазрушения. Все жили в ожидании того, когда усиливающийся экзистенциальный и нравственный вакуум разорвет социальные связи внутри государств, исказит их границы, сломает систему международных отношений.

Россия пострадала больше других. Она взяла на себя главный удар той болезни, которая возникла в европейской культуре еще в эпоху Просвещения. Каждый взорванный храм, каждый убитый священник и мирянин – это ожившие строчки из трудов философов того времени. Жрецы позитивизма, модернизма, социал-дарвинизма считали, что мир делится на избранных и всех прочих, что старый мир должен рухнуть и «в будущее возьмут не всех». Это перечеркивало христианские истины.

Колониализм – важнейшая часть культуры модерна, поскольку развитие (модернизация) идет за счет периферии, за счет колонизируемых. Коммунизм пытался вернуть равенство и справедливость, но поскольку коммунистическая теория сформировалась в рамках все того же модерна, ее увлекала страсть к социальным экспериментам, невзирая на жертвы, безбожие, атеизм. Коммунизм – это реакция на колониализм, который возник гораздо раньше. И вот смотрите: коммунизма давно нет, а колониализм и нацизм процветают.

Россия – часть восточно-христианского, византийского мира. Но ей суждено было стать жертвой чужой агонии – агонии модернизма. Поэтому в красном углу России был повешен «черный квадрат». Тем не менее, даже в советскую эпоху в России было два социализма. Внешне похожие, но очень разные по сути. Один – идущий сверху, от «режима», имеющий западные, модернистские корни. И другой – идущий снизу, от народа, от русской традиции, в котором нет революционности, но есть справедливость, община и равенство людей перед Богом.

И потому, как сказал патриарх Кирилл, «несмотря на последовательное отрицание христианства... в советский период в том или ином виде сохранилась связь этических ориентиров и образа жизни с богооткровенными нравственными идеалами».

Вначале Запад смотрел на Россию и ликовал – в этом зрелище он видел победу своих идей и радовался, как ученый радуется управляемому эксперименту на безопасном для себя расстоянии. Отсутствие воли признать собственную роль в этом процессе привело Запад к желанию отделить себя от России. Увидев себя в зеркале России, европейцы поспешили сказать: «это не мы». И чтобы покончить со слишком искренней и неподдельной русской тягой к справедливому обществу, они вызвали духов нацизма.

Далее Советская Россия жертвует собой ради победы над нацизмом, освобождения Европы, своими силами возвращаясь к традиции.

На фронт ушли коммунисты, а с фронта вернулись русские.

Если в 1917 г. Россия пугала, сегодня она обретает способность привлекать – и тем вернее, чем она более самостоятельна. Сегодня Россия несет стремление к миру, традиции, открытости, а не к революции. Именно в этом наша сила.

Технологии оранжевых революций никуда не делись, но для них больше нет приводных нитей, за которые можно было дергать в феврале 1917-го. Сегодня мы солидарны и доверяем друг другу. В том числе и в плане разумного и бережного отношения к прошлому 100-летию революции – это тема, которая касается не столько России, сколько культуры и идеологии современного Запада. Это вызов для него. Мы ожидаем не изменений в России, а изменений на Западе. Россия живет уже в XXI в., а Запад пока еще в начале 1980-х, среди химер «холодной войны». Запад прибегает к военной силе – устраивает гражданские войны и революции. Хотя сил для поддержания статуса мирового жандарма у него все меньше.

События 1917 г. именуются Великой Октябрьской социалистической революцией. Сокращенно – Октябрьской революцией. Это историческое самоназвание. В 2014–2015 гг. различные мозговые центры загодя продумывали тактику использования грядущего столетия в маневрах информационного противоборства с Россией. Среди прочего было предложено именовать случившееся «русской революцией», «российской революцией», «великой русской революцией». Это очень хорошо видно по западным публикациям тех лет. Была поставлена задача смещать акцент и внушать, что трагедия и гражданский раскол увязаны с чертами характера русского народа. Этот политехнологический трюк с переименованием революции переносил всю тяжесть вины за происшедшее на русское общество. Русский народ из жертвы тем самым превращался в виновного.

Так что лучше использовать утвердившееся историческое самоназвание.

Нас постоянно призывают осмыслить революцию. Но давайте скажем честно – мы все давно осмыслили. И наша цель – в гражданском примирении и консенсусе перед лицом новых общих вызовов. Как это было в 1941-м. Как это было в 2014-м.

Нацизм

Слово «фашизм» сегодня звучит все чаще, и оснований для этого достаточно. При этом на поле публичной полемики нет методологически четкого подхода к явлению. Путаница вызвана множеством стереотипов вокруг темы фашизма. Людей зачастую просто вводят в заблуждение.

Мы видим тенденцию замалчивания ряда вопросов и тем, связанных с германским нацизмом. Скажем, в Европе обходится стороной тема негерманских истоков нацизма. Знаменитая книга Мануэля Саркисянца «Английские корни немецкого фашизма. От британской к австро-баварской расе господ» с огромным трудом преодолела заговор молчания. Как бы не замечают работы историков, исследующих нацизм как общеевропейское, а не только германское явление эпохи модерна и его прямую связь с общеевропейской практикой колониальных войн.

Для России более характерна мистификация явления. Фашизм подают как мировое зло, которое приходит по чьей-то субъективной злой воле и не имеет экономических предпосылок. Публицисты любят рассуждать о растущей «атмосфере нетерпимости». Такие страшилки заканчиваются моралью о вреде гражданских конфликтов. Но реальный фашизм в подобных нравоучениях отсутствует.

На этом фоне наблюдается дробление термина «фашизм». Внимание отдается описанию авторитарных практик, характерных для любой тирании, не только фашистской. А также приемам пропаганды и политической демагогии, а ими тоже пользуется любой популист, не только «коричневой» окраски. Нередко при разговоре о Третьем рейхе на первый план выставляют его имперскую эстетику, например, связанную с Олимпиадой 1936 г., которая проходила в Германии. А расовая теория, холокост и план «Ост» по колонизации восточных территорий уходят из поля зрения.

Зачастую просматривается отношение к нацизму как некоему условному понятию. Слово используется как стикер, которым можно пометить любое нежелательное явление, наградить политического оппонента.

Параллельно с мистификацией, дроблением, условным толкованием понятия происходит оправдание и возрождение фашизма как явления. И если еще не так давно оправдание было более скрытым и подспудным, то теперь процесс перешел на галоп. События 2014 г. на Украине это доказали. Сегодня мы видим, что впервые после 1945 г. фашизм, по сути, легализован в сознании европейцев. Это есть историческое поражение современной модели миропорядка, апологеты которой декларируют толерантность.

Одним из самых распространенных был и остается миф о денацификации Германии и покаянии немецкой элиты. Но победа над Германией в 1945-м не означала, как оказалось, победы над фашизмом. Бывшие нацисты служили в бундесвере, заседали в парламенте, занимали высокие государственные должности. Когда Германия официально одобрила «коричневый» переворот на Украине, видна абсурдность разговоров о денацификации. Надо открыто признать: правительство Ангелы Меркель в союзе с американскими политическими элитами проводит в международной политике курс на реставрацию нацизма в Восточной Европе и потому мало чем отличается от нацистского, хотя население самих Германии и США пока от этого не страдает.

На мой взгляд, любой разговор о фашизме и нацизме нужно начинать с двух исходных посылок.

Первая. Данная идеология основана на мифе исключительности, обосновании ранжирования «человеческого материала». Это ценностное априори фашизма. Оно может иметь разные формы. Ошибочна и кощунственна точка зрения, которая оставляет в концептуальном поле

фашизма только одну его разновидность – национал-расизм, он же «нацизм», вынося за скобки культур-расизм, социал-расизм, идею цивилизационного или религиозного превосходства.

Второе. Надо ясно понимать, что цель нацизма – захват территории и ресурсов. Для оправдания этого создаются теории «превосходства», основанные, между прочим, на данных антропологии и положенные в основу евгеники. Фашизм – типичный продукт эпохи модерна, а не отступление от духа модерна. Корни фашизма уходят в практику колониализма, что также связано со спецификой Нового времени. В политическом плане Адольф Гитлер не придумал ничего нового. Он лишь перенес методы, которые до него белые колонизаторы применяли на окраинах мира, в центр Европы и применил к славянам, евреям и цыганам. Только после поражения гитлеровской Германии эта практика была формально осуждена. Хотя раньше, когда дело касалось бушменов, конголезцев или китайцев, европейцы вообще ни о чем подобном не задумывались. Мечтая о колониях «от Вислы до Волги», Германия надеялась сделать поляков и русских европейскими рабами. И что? Кто-то это сильно осуждал? Нет. В агрессивном походе Гитлера участвовали более 20 стран, в основном европейских.

О связи фашизма и социальной системы позднего капитализма свидетельствует не только научный анализ, но и текущая политика. Однако в силу идеологического родства фашизма и либерального капитализма либеральные СМИ редко критикуют фашизм по существу, с учетом его идеологической и социально-экономической базы. Они склонны представлять фашистов как социальных маргиналов, распоясавшуюся шпану и обращать внимание на внешние признаки и символику.

Иммануил Валлерстайн писал о существовании «классово-этнической низшей страты» в мировой системе разделения труда и о том, что этнический фактор маскирует подлинные истоки социального неравенства. Впрочем, о нациях-буржуа и нациях-пролетариях писали в XX в. и марксисты. Сам термин «классово-этническая» говорит о том, что классовое и национальное угнетение – две стороны одного процесса.

Встречающиеся утверждения, что рассуждения о «бремени белого человека» и культур-шовинизме якобы нельзя сравнивать с расовыми теориями, лицемерны. Не просто можно сравнивать, но и необходимо. С моральной точки зрения разница иллюзорна. Ведь узнику фильтрационного лагеря и жертве зачистки все равно, во имя чего их ликвидируют: во имя расовой чистоты или во имя стандартов «передовой цивилизации».

Соблюдая интеллектуальную честность, необходимо признать, что нацизм и фашизм – это закономерное продолжение и поздняя форма колониального капитализма, поэтому у них не может быть правой альтернативы, только левая.

Такой ход мысли столь очевиден, что ни на Западе, ни в России он не опровергается, хотя всячески игнорируется. В академической среде, как правило, по идеологическим причинам, в обывательской – по психологическим. Во многом это связано с механизмом вытеснения нежелательных содержаний из коллективной памяти общества. Ведь фашизм – это особый, травматический опыт. Он изменил социальный характер западного человека («после Освенцима нельзя писать стихи»).

В 1940-е гг. западный обыватель неожиданно увидел себя в зеркале. И мог бы сказать то, что говорили советские вожди накануне перестройки: «Мы не знаем общества, в котором живем». Вот только перестройка европейского сознания до сих пор не началась, несмотря на клятвенные заверения в «денацификации».

Западноевропейское общество больно, и, судя по отношению к украинским событиям, больно очень тяжело. А признать это ему сложно. Ведь осознание данного факта таит в себе экзистенциальную угрозу идентичности модерна.

Тоталитаризм

XXв. давно закончился, а ощущение конца эпохи все не проходит. Сегодня оно связано с застоем в сфере политических идей. Точнее, с набором ключевых политических понятий, которые задают смысловую атмосферу последних трех десятилетий.

* * *

Парадигма новой политики, вступившая в силу после 1989 г., несмотря на крайнюю степень изношенности, все еще занимает господствующие высоты в мире. Она морально деградирует и структурно упрощается. Но даже самая пещерная идеология нуждается в моральных ориентирах. Концепция добра и зла присутствует во всякой политической доктрине, и та, о которой мы говорим, тоже имеет четкую систему этики. Система эта, впрочем, довольно старая. Она основана на концепции «двух тоталитаризмов» (шире – «закрытых обществ»), появившейся в работах философа и социолога Карла Поппера («Открытое общество и его враги»), философа Ханны Арендт («Истоки тоталитаризма»), политолога Збигнева Бжезинского и некоторых других авторов. Концепция родилась с началом холодной войны, но оказалась намного долговечнее политических блоков. Смысл ее прост: коммунистические и фашистские режимы являются политически родственными и противостоят либеральным демократиям.

В системе нового мышления, о которой так много говорили в эру Горбачева и Рейгана по обе стороны ветшающего «железного занавеса», максима «тоталитаризма» занимала почетное место. Именно теория двух тоталитаризмов (или «двойного» тоталитаризма) служила тем мостиком, который был переброшен из политического вчера в политическое сегодня. Нынешняя политика силы как бы искупалась вчерашними жертвами. Тоталитаризм служил индульгенцией, выданной историей сторонникам нового глобального миропорядка.

Разумеется, с логической точки зрения эта позиция не выдерживает никакой критики, но психологически она очень действенна. Механизм воздействия на общественное сознание довольно прост: это постоянное напоминание об исторической травме. То есть апелляция не к рациональной, а к эмоциональной сфере. Без картины темного тоталитарного прошлого не вырисовывается картина светлого либерального будущего (ввиду слишком большого количества издержек в виде «межцивилизационных» войн, смены режимов и проч.). Поэтому так необходим образ исторического врага.

* * *

Со времен Карла Поппера и Ханны Арендт общий концептуальный каркас теории не изменился: речь по-прежнему идет о «плохих» тоталитаризмах, которые противостоят «хорошему» либерализму. Но со временем эта манихейская модель стала все чаще попадать под огонь критики на Западе, а не только в СССР. Что неудивительно: ведь теория с самого своего рождения напоминала катехизис. Ее можно было или целиком принять, или целиком отвергнуть. Причем, как и в вульгарной версии коммунизма, в «двутоталитарной» концепции была очень заметна эмоциональная составляющая (инфернальная символика, мотив абсолютного зла, категорическое «никогда больше»).

А это тревожный симптом.

Неудивительно, что уже в 1960-е появились политические концепции, которые шли вразрез с «двутоталитарной» ортодоксией. Здесь в первую очередь надо сказать о представите-

лях неомарксистской Франкфуртской школы. Старшие представители школы, Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер рассматривали, в частности, фашизм как побочный результат двух глубинных исторических процессов. С одной стороны, мы наблюдаем доминирование стандартов рациональности, навязанных Европе эпохой Просвещения. С другой стороны, наблюдаем встречный процесс – нацистский археомодерн, который представляет собой аффективную реакцию на эти стандарты иррациональных пластов европейской культуры.

Исследователи 1960-х описывали репрессивные механизмы всех трех идеологических модусов западного общества – нацистского, коммунистического и неолиберального – как взаимосвязанные.

Представитель второго поколения франкфуртцев, Герберт Маркузе, культовая фигура бунтующей молодежи 1960-х, гуру радикального студенчества, пришел к выводу, что репрессивный аппарат либерального общества эпохи постмодерна формирует фашизоидный тип сознания – «одномерного человека». И делает это не менее успешно, чем его «тоталитарные» конкуренты. Это вывод тем более важный, что у нацизма и либерализма, как известно, одна и та же социальная база – средний класс. Примером государства «скрытого фашизма» для Маркузе и его единомышленников служили, в частности, Соединенные Штаты Америки с массой обывателей-реднеков.

С этой точки зрения, идеологическая карта XX столетия, расчерченная по принципу «две плохие теории – одна хорошая» уже выглядела сомнительно. Важно принять во внимание, что франкфуртцы вовсе не ставили под вопрос саму категорию тоталитарности («фашизоидности») и даже не пытались сузить ее, как иные консервативные критики «справа». Напротив, они шли по пути расширения понятия, раздвигая его рамки и содержание. В таком ракурсе любой репрессивный механизм выглядел симптомом латентного фашизма.

Многие оппоненты теории, как уже было сказано, указывали на разные социальные предпосылки двух режимов. Коммунизм апеллирует к низам, фашизм и нацизм – к среднему классу и к крупной буржуазии. Кажется, это было у Антонио Грамши: «Опора фашизма – взбесившийся средний класс...»

Но для системной критики «двойной» теории тоталитаризма этого было недостаточно. Чтобы критика теории переросла в стратегию и набрала достаточную объяснительную силу, был нужен системный взгляд на политическую историю. Прежде всего надо было разобраться с тем, почему политический мейнстрим XX столетия – либерализм – упорно выводится за пределы проблемного поля.

* * *

Попытки выйти за привычные рамки исследований тоталитаризма стали особенно заметны к 1990-м гг. Пожалуй, наиболее интересной можно считать позицию Иммануэля Валлерстайна, изложенную им в работе «После либерализма». Вышла эта книга в Нью-Йорке в 1995-м. То есть всего через три года после благостной либеральной утопии Френсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» (1992).

В центре внимания Валлерстайна стояла более масштабная проблема, нежели вопрос о критериях тоталитаризма, – история и смерть либерализма как двухсотлетнего политического проекта. Но с темой тоталитарности это, разумеется, связано напрямую.

Отличительной чертой валлерстайновской позиции можно считать восприятие фашизма и коммунизма не как двух идеологий, противостоящих либеральной демократии, а как составных частей большого либерального проекта, который берет начало в 1789 г. Эта смена ракурса принципиально важна. Именно она задавала новую перспективу рассмотрения старой «окототалитарной» проблематики. Когда впервые открываешь Валлерстайна, не веришь своим

глазам. Он дает картину событий XX в., абсолютно не похожую на ту, что мы привыкли видеть в советских и постсоветских учебниках, а также в западной прессе.

Цель, заявленная автором, проста. Он стремится описать уже начинавшийся, по его мнению, «процесс разжалования либерализма с его поста геокультурной нормы». А это требует проследить тесную связь либерализма с консервативной и социалистической идеями до фашизма и коммунизма включительно. Валлерстайн определяет «современность» как эпоху либерального доминирования, которая укладывается в два столетия – между Французской революцией и крушением СССР. И берется утверждать, что противостояние трех политических концепций с самого начала было иллюзорным, схоластическим и подчинялось потребностям европейской и мировой Realpolitik.

Социализм в России, согласно Валлерстайну, не был самостоятельным политическим проектом. И хотя Октябрь 1917-го кардинально перепахал социально-политический ландшафт, уже в 1920-е гг. советский режим негласно вошел в консенсус мировых элит. Разговоры о мировой революции в этот период выродились в чистую риторику, выгодную всем участникам консенсуса. Именно в силу этой негласной конвенции холодная война так и не перешла в горячую фазу.

Исходя из этих позиций, можно утверждать: смысл Второй мировой войны состоит в том, что наиболее реакционная часть либерального истеблишмента (а не социалистический Советский Союз) вышла за рамки консенсуса и нанесла удар по одному из его участников. Но с победой Советов консенсус был восстановлен, причем на более выгодных для СССР условиях, хотя и ценой огромных жертв.

В чем же в таком случае системная ошибка западной советологии? В чудовищной переоценке советского проекта.

По мнению Валлерстайна, русский социализм, в отличие от классического марксизма, под видом классового противостояния разрабатывал иную идею – идею национального освобождения, а точнее, демонтажа старой колониальной системы в мировом масштабе. Но первоходцами Ленин и Троцкий здесь не были. Проект изначально возник в рамках миротворческой политики президента США Вудро Вильсона и его последователей, лишь позднее получив второе, социалистическое издание.

Речь в обоих случаях шла о сломе старого мирового порядка. И здесь США и СССР, несмотря на идеологическое противостояние, на самом деле служившее вершиной политического айсберга, решали одну и ту же задачу. Так называемое соперничество двух систем было выгодно всем участникам. Почему?

Желание покончить с европейской формой колониализма ради новой – экономической, глобальной, планетарной – вот одна из причин альянса двух идеологий, либеральной и социалистической. Но не единственная. Чтобы планетарная доктрина считалась легитимной, она обязательно должна была иметь глобального оппонента. А чтобы сохранять свой статус, ей было необходимо обеспечить игру по правилам с этим оппонентом. Таким образом, согласно Валлерстайну, советский социализм сыграл роль карманной альтернативы и удобного спарринг-партнера для мирового либерализма. Вывод на первый взгляд несколько неожиданный.

Характеризуя период 1945–1990 гг., Валлерстайн вообще не использует понятие «двуполярный мир». Он уверен: «СССР можно рассматривать в качестве субимпериалистической державы по отношению к Соединенным Штатам постольку, поскольку он поддерживал порядок и стабильность в своей зоне влияния, что на самом деле увеличивало способность Соединенных Штатов к поддержанию собственного мирового господства. Сама напряженность той идеологической борьбы, которая, в конечном итоге, не имела большого значения, играла на руку Соединенным Штатам и была для них серьезным политическим подспорьем (как, несомненно, и для руководства СССР). Кроме того, СССР служил Соединенным Штатам своего рода идеологическим прикрытием в странах третьего мира».

Косвенно этот тезис подтверждается историей нефтедобывающих стран (ОПЕК). Когда они попытались создать картель и шантажировать Запад, именно СССР пришел на помощь «миру капитала» и открыл для него вентиль на полную, не слишком задирая цену. Показательно и индифферентное отношение США и их союзников к силовому подавлению восстаний в Восточном блоке (1953, 1968, 1980–1981).

Постепенно этот либерально-социалистический консенсус становился все более очевидным. Только СССР оставался заповедником девственно чистых идей, которые господствовали и в лагере «лоялистов», и в лагере «диссидентов». Получается, что советские ортодоксы по существу разделяли антитоталитарную теорию своих оппонентов, только наделяли ее противоположным смыслом, меняя знаки – плюс на минус («коммунизм – хорошо, капитализм – плохо»).

Но западные интеллектуалы давно осознали реальную конфигурацию сил. Именно поэтому «революционеры 1968 г. выдвинули протест против этого консенсуса, и прежде всего против исторической трансформации социализма, даже ленинистского социализма, в либерал-социализм», пишет Валлерстайн. В конечном счете «революция 1968 г. подорвала фундамент всего идеологического консенсуса, возведенного Соединенными Штатами, включая его козырного туза – прикрытие советским щитом».

А уже «в 1989 г. те, кто был разочарован либеральным консенсусом, повернулся против наиболее ярких выразителей либерал-социалистической идеологии, режимов советского типа, во имя свободного рынка».

Консенсус исчерпал себя. Советский щит либерального проекта, став прозрачным, исчез за ненадобностью.

Что же произошло в 1989 г.?

Валлерстайн уверен: «О том, что произошло в 1989 г., много писали как о завершении периода 1945–1989 гг., считая его датой поражения СССР в холодной войне. Эту дату полезнее было бы рассматривать как конец периода 1789–1989 гг., иначе говоря, времени победы и поражения, взлета и постепенного упадка либерализма как глобальной идеологии – я называю ее геокulturой – современной миросистемы».

О причинах краха двуполярного мира можно говорить долго. Но для нас важен итог этого процесса. И автор «После либерализма» определяет этот итог предельно точно. «Вильсонианцы, – пишет он, – лишились, наконец, ленинистского щита, направлявшего нетерпение третьего мира в русло такой стратегии, которая, с точки зрения господствующих на международной арене сил, в минимальной степени угрожала той системе, против которой выступал третий мир».

Из сказанного следует важный вывод. Так называемый крах коммунистических режимов имел не внутренние, а внешние причины, которые заключались не в устройстве самих режимов, а в логике развития всей либеральной миросистемы, частью которой эти режимы являлись, существуя на правах мнимой и потому безопасной «альтернативы». А следовательно было бы правильнее определить конец советской системы не как крах, а как демонтаж.

Как ни парадоксально, «последними, кто серьезно верил в обещания либерализма, были коммунистические партии старого образца в бывшем коммунистическом блоке. Без продолжения их участия в обсуждении этих обещаний господствующие слои во всем мире потеряли любые возможности контроля над мировыми трудящимися классами иначе, чем силовыми методами... Но одна только сила, как мы знаем со времен по крайней мере Макиавелли, не может обеспечить политическим структурам очень длительного выживания», – уверен Валлерстайн.

Легко вывести из этого тезиса главную мысль: либеральный мир, не имея альтернативы, не имеет и легитимности. Теряя идеологическую привлекательность и накапливая экономиче-

ские проблемы, он вынужден прибегать к военной силе, поскольку других способов контроля над ситуацией уже не осталось.

Каково же будущее либеральной миросистемы после падения коммунистического мита? Она неизбежно будет терять остатки легитимности, упрощаться, ужесточаться и архаизироваться. Или, другими словами, проваливаться в собственное колониалистское прошлое.

В этом смысле очень интересен феномен *неолиберализма*, по сути смыкающийся с неоконсервативным трендом. Если прежде в либеральной среде было принято рассуждать об обществе равных возможностей, то неолибералы (преемники либералов) считают, что «равные возможности» – это угроза для обладателей экономических привилегий. Но отход от идеи «равных возможностей» – очевидный шаг в сторону сословного государства. То есть того самого явления, с которым призывали покончить европейские буржуазные революции XVIII в., в лоне которых окреп и вырос либеральный проект.

Таким образом, либерализм пришел к отрицанию собственных «священных» ценностей. Сегодняшний либеральный мир в ценностном смысле опустился ниже планки 1789 г. Что позволяет охарактеризовать его экономическую модель уже не как поздний капитализм, но как денежный феодализм, и все это, безусловно, свидетельствует о глубочайшем кризисе либеральной теории.

Впрочем, удивляться тут нечему, учитывая, что либерализм сегодня считается тоталитарной системой почти официально. Раньше он прибегал к мимикрии, перекладывая полицейские (тоталитарные) функции на дочерние режимы и направлял недовольство в безопасное русло. С этой целью, в частности, теория тоталитаризма и использовалась либеральными элитами. А сегодня? Штабная экономика, культур-расистский дискурс в политике, военные удары... Все эти издержки и диспропорции уже невозможно оправдать наличием геополитических соперников.

Либеральный проект, оставшись без добавочного политического модуля, становится все агрессивнее. И этот тоталитарный либерализм ждет неминуемая утрата легитимности в глазах не только угнетаемых наций, но и западного общества. Но по-другому удерживать *status quo* уже не получается.

Данная ситуация свидетельствует о конце более чем 200-летнего исторического проекта.

* * *

Возникает естественный вопрос: в какой идеологической системе отсутствует логика исключения, принцип «мы – они»? Ответ очень простой. Такая система есть, ей две тысячи лет. Это апостольское христианство. Определение «апостольское» отнюдь не лишнее: в течение веков христианское учение испытывало самые разные деформации, выражавшиеся то в крестовых походах, то в положениях протестантской этики.

Мальтузианский принцип тотальной конкуренции противоположен христианской морали. Именно поэтому по мере ужесточения либеральной политики (вне всякого сомнения наследующей мальтузианству) все более активной становится борьба с религией, которую ведут идеологи глобального секулярного мира. Запреты на публичное ношение крестов, осквернение и разрушение храмов, спиливание крестов, пляски на амвоне и разжигание ненависти к религии – все это приветствуется «хозяевами дискурса».

Диаметрально противоположные ценности – это одна причина конфликта. Но есть и другая. Христианство стоит на страже традиционных общественных институтов, а они являются нежелательной помехой для колониального мышления. В «глобализированном мире» не должно остаться ничего традиционного – таков принцип современного либерализма. Традиция мешает управлению, свободному манипулированию информацией и потоками капитала.

Поэтому либеральными элитами взят курс на воинствующий антитрадиционализм, который грозит превзойти «достижения» государственного атеизма советского образца.

Но почему так исторически сложилось, откуда это кардинальное расхождение? И нет ли в либеральной доктрине скрытой религиозной составляющей? На этом следует остановиться подробнее.

Исторически зрелый тоталитаризм – это последнее звено в цепочке, которая берет начало с отказа от традиционного христианства. То есть с европейской Реформации.

Полностью сбрасывать со счетов богословский аспект проблемы было бы неверно. Речь идет о «протестантской этике», которая давно является скорее политическим, нежели религиозным феноменом.

Тем не менее, отметим, что именно в рамках европейской Реформации возник особый тип европейского мирозерцания, основанный на идее «избранности» одних людей по сравнению с другими. В XVI в. эту идею было принято понимать чисто теологически, как «избранность ко спасению».

В соответствии с ортодоксальным христианством спасение, как известно, есть категория неземной жизни. Однако мерилом «избранности» в рамках протестантской (особенно кальвинистской) этики все чаще становился материальный «успех» в земном мире. Эта концепция и стала отправной точкой для либерального проекта.

Позднее на этот морально-этический фундамент наслоиась философия Просвещения. Причем в бытовом, не-философском, понимании идея «просвещения» дикарей становилась своеобразной индульгенцией для колониальных захватов и шла рука об руку с военно-техническим прогрессом.

Но какие именно ценности цивилизованный мир так стремился «преподать» дикарям в обмен на живой товар, драгоценности, колониальную экзотику и дешевый труд?

Ценности европейской цивилизации в колониальную эпоху включали в себя либеральные идеи «естественных прав», парламентаризма и «свободной торговли». Причем термин «свобода торговли» понимался порой так широко, что включал в себя сбыт живого товара, «принуждение к рынку» (Опиумные войны в Китае), угнетение и унижение туземного населения и т. п.

Таким образом, «естественные права» одних утверждались отнятием прав у других. Свобода европейцев оплачивалась угнетением мировых окраин. Технический арсенал для захватов обеспечивался успехами европейской науки, а жажда прибыли и материального успеха – доктриной «протестантской этики».

В этом русле и шло развитие либерализма вплоть до эпохи «золотого миллиарда». Советский проект породил иллюзию выхода из этого круга и до поры до времени спасал либеральный мир от восстания окраин. Он давал угнетенным призрачную надежду и мнимую возможность выбора.

Макс Хоркхаймер однажды очень точно сказал: «Тоталитарный режим есть не что иное, как его предшественник, буржуазно-демократический порядок, вдруг потерявший свои украшения».

Сегодня подлинный генезис тоталитаризма перестает быть тайной за семью печатями. Вопреки мнениям Карла Поппера, писавшего о «закрытости традиционных обществ», и Ханны Арентс, с ее тезисом о панславистских корнях большевизма, тоталитаризм – продукт западной культуры Нового времени. Это совершенно очевидно.

* * *

Теперь мы можем вернуться к главному вопросу: что произошло с представлениями о тоталитаризме в XX в. и почему столь неубедительная теория появилась на свет и стала одним из устойчивых стереотипов массового сознания.

Чтобы замаскировать неудачную родословную тоталитаризма, его защитники всегда были готовы сохранить в списке критериев тоталитарного общества «сильную власть», но затушевать рационализм и дух модернити. Кроме того, они то и дело норовили подменить корпоративный коллективизм фашистского строя общинностью и соборностью русского, православного или – шире – любого традиционного общества. После серии таких подмен теория «двойного тоталитаризма» сделалась удобным политическим орудием, заточенным против любой традиции, в том числе и против европейского христианства. Которое, как мы сегодня видим, стало жертвой глобального секулярного проекта.

Скрывать пришлось не только истоки тоталитаризма, но и подлинные причины его расцвета в XX в. Собственно говоря, феномен германского нацизма адепты теории бинарного тоталитаризма предпочли не исследовать, а, скорее, заклясть, навесив табличку «фашизм». По сути это был негласный интеллектуальный карантин.

Врага желательно знать в лицо. Но европейская рефлексия тоталитаризма пошла кружным путем, далеко уведящим от существа вопроса. Моральное отрицание нацизма и фашизма стало обязательным (что само по себе правильно), а вот их серьезное научное исследование попало в разряд общественных табу.

По-видимому, это закономерно. Ведь даже при беглом взгляде смысл явления слишком очевиден. Фашисты не привнесли в политическую практику западного общества ничего нового. Они лишь поменяли контекст – с туземного на внутриевропейский.

Например, касаясь в своих выступлениях «восточного вопроса», Гитлер говорил о том, что восточные территории должны стать для Германии тем же, чем стала Индия для британцев. Аналогичная ситуация сложилась с концлагерями. Впервые их придумали и воплотили англичане в ходе англо-бурской войны. Но если, будучи применена в Южной Африке, эта практика не вызвала особого беспокойства у европейской общественности, то те же методы, применяемые в центре Европы и к европейцам, вызвали настоящий шок. Что допустимо на задворках «свободного мира», то немыслимо в самом «свободном мире».

* * *

Сегодня морально устаревшая теория тоталитаризма удовлетворяет далеко не всех. Либерализм теряет способность объяснять себя.

Возникает вопрос: была ли либеральная система в XX в. с самого начала тоталитарной? Безусловно, была. И потому, что создала инфраструктуру мирового господства, включив в нее советскую «альтернативу» на правах подсистемы. И потому что германская контрсистема, существовавшая 12 лет, имела стопроцентно либеральные корни.

Как известно, Иосиф Сталин, комментируя итоги войны, не произнес слова «фашизм». Он говорил исключительно о германском империализме. Третий рейх был бесчеловечнее, а, следовательно, либеральнее своих оппонентов. Но этот либеральный контрпроект провалился.

СССР стал хотя и удаленной, но полноценной частью американского проекта. Советские вожди не были свободны в своих решениях и подчинялись «правилам игры», тогда как Третий рейх попытался осуществить слом системы, овладев европейским хартлендом. Поэтому называть советскую систему отдельным, самостоятельным тоталитаризмом совершенно некорректно.

Таким образом, в XX в. мы имели три взаимосвязанные идеологии. Это идеология-гегемон (либерализм), ее радикальное ответвление (нацизм) и идеология прикрытия, спутник идеологии-гегемона (советский социализм).

Теорию «двойного тоталитаризма» пора признать несостоятельной. В действительности есть только один тоталитарный режим – либеральный. Фашизм и коммунизм являются не его конкурентами, а его составными частями. Первый представляет собой ядро, а второй – периферию. Поэтому выстраивать систему «два тоталитаризма – одна демократия» просто не имеет смысла. Можно говорить о трех тоталитаризмах, но в этом случае слово «тоталитаризм» кардинально меняет смысл. Оно обозначает уже не доктрины, а состояние идеологического пространства в целом, которое возникло в XX в.

Следовательно, правильно говорить не об отдельных идеях, а о состоянии тоталитаризма, в которое вошли европейская мысль и европейская политика в прошлом столетии.

«Состояние тоталитаризма» и есть конечный продукт развития европейской мысли после 1789 г.

Подлинным конкурентом тоталитаризма было и остается только христианство.

Глобализм

Экономика не является зоной, закрытой для осмысления с точки зрения Слова Божьего. Христианин может выносить свое суждение и оценку процессам, связанным, в частности, с современным феноменом глобализации.

Разумеется, члены Церкви не претендуют на знание основ биржевой аналитики или законов функционирования сырьевых рынков. Но общие подходы в макроэкономике, связанные с долгосрочными социально-политическими приоритетами, были и будут для нас предметом серьезного разговора. В противном случае проблемы мирового развития в целом превратились бы в замкнутую сферу оккультного знания, а вместо экспертизы и аналитики мы бы получили некое подобие жреческих практик, не подвластных общественному контролю. Такая ситуация недопустима ни с точки зрения христианской морали, ни с точки зрения элементарных требований демократического подхода к обществу и человеку.

За макроэкономикой стоит судьба миллионов людей и их интересов. Начнем с определения глобализации. Глобализацию можно определить как навязанную мировыми финансовыми центрами систему экономических и политических отношений, невыгодную для большинства национальных субъектов. Итогом становится растущий мировой кризис и архаизация политики, выражающаяся в таких явлениях, как рыночный фундаментализм, правовой нигилизм, христианофобия, неонацизм.

Мотором глобализации является экспансия капитала, но поскольку мировые рынки поделены и перенасыщены, она уже уперлась в потолок своих возможностей. Отсюда соблазн строить долговую экономику и брать в долг у следующих поколений. Но эти меры – лишь отсрочка неизбежного коллапса системы.

Тем не менее, глобализированная экономика несет с собой богатый набор инструментов принуждения. Яркий пример – проект Трансатлантического партнерства, который США долго навязывали Европе и который, если он будет принят, обескровит Западную Европу точно так же, как Западная Европа обескровила собственную «периферию» – Грецию, Португалию, Прибалтику, Украину.

Систему глобалистских институтов обслуживает идеология монетарного постгуманизма, характерная прежде всего для адептов так называемого неолиберального консенсуса, чье доминирование, судя по всему, вступило в фазу завершения. Преодоление границ и формирование единого культурно-экономического пространства, о котором говорят сторонники этой идеологии, на деле представляет собой односторонний процесс. Попробуйте войти со своим капиталом на американский или европейский рынок, купить что-то более серьезное, чем сеть закусочных. Другой пример: для стран, вступивших в ВТО, существует договор о взаимных обязательствах с этой организацией, предполагающий ослабление тарифных и таможенных барьеров в обмен на кредиты и технологии. Санкции, введенные по отношению к России, фактически равнозначны отказу другой стороны от своих обязанностей по договору. Разве мы не должны в этом случае отказаться от своей части обязательств? И это не единственный пример «сотрудничества», свидетельствующий о необходимости серьезного анализа последствий глобализации.

Сегодня в ходу различные формы «монетизации личности», когда экономика пытается подавить элементы человеческой идентичности, которые не подвластны законам рыночного обмена (вера, мораль, семейные ценности, национально-культурная специфика). И это не может не внушать тревогу.

Общественный контроль за экономическими решениями и этические приоритеты в рамках такого контроля необходимы. Это условия устойчивого развития и социальной стабильности.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» хозяйственная деятельность рассматривается как «сорботничество Богу». Раскроем этот тезис. Прежде всего необходимо отказаться от ряда очевидных стереотипов, которые мешают отрефлексировать христианский подход к социально-экономической реальности. Один из них связан с убеждением в том, что экономика представляет собой некую автономную сферу. «Чистой» экономики в мире не существует, как не существует чистого разума или чистого искусства. И то и другое и третье – культурспецифичные явления, психологически и идеологически опосредованные.

Христианская ортодоксия – это культурно-этическая матрица, которая, подобно протестантской матрице, как это было описано у Макса Вебера, способна порождать собственный формат хозяйственных отношений и хозяйственной этики. Поэтому необходимо соизмерять экономическую деятельность с категориями нравственности.

Еще один важный момент заключается в том, что любые догмы – коммунистические, неолиберальные, постгуманистические, секуляристские – если они вторгаются в сферу морального выбора, с точки зрения христианской ортодоксии является идолопоклонством. И одним из проявлений такого рода идолопоклонства является сакрализация понятия «глобализация».

Необходимо избавиться от отношения к глобализации как к чему-то фатальному и безальтернативному. Во-первых, следует понимать, что понятие «глобальный» («глобалистский») вовсе не означает по умолчанию «универсальный», поскольку данный проект создан, как уже было сказано выше, на базе протестантской цивилизационной матрицы, оснащенной идеологическим инструментарием монетарного постгуманизма. Во-вторых, существуют естественные пределы глобализации, и они уже достигнуты. В мире усиливается системный кризис, связанный с невозможностью расширения рынков, то есть кризис падения эффективности капитала. Ресурсы и возможности развития в рамках прежней парадигмы объективно исчерпаны. На фоне этого кризиса концепция глобального мира обнаруживает идеологическую слабость.

Глобализация достигла пределов, но застыть в одной точке она не может, поэтому проект начинает сыпаться. Этот процесс идет по нарастающей, и наша задача – успеть возвести несущие конструкции новой экономической модели и нового политического мышления, прежде чем старая «постройка» окончательно разрушится. Поэтому в настоящее время в среде политиков и интеллектуалов активно формируется группа с альтернативными взглядами на экономику и общество, которая критикует систему ценностей глобального проекта и которой предстоит в условиях его краха дать миру новую социально-экономическую модель – более нравственную, более справедливую и более долговечную. Над этим идет активная работа. От старой модели, основанной на ссудном проценте и тотальной зависимости, придется избавляться. И чем раньше это будет сделано, тем менее разрушительны будут последствия для общества.

Важнейшим социально-психологическим явлением, сопутствующим глобализации, стало повсеместное распространение культа потребления. Гедонизм стал гражданской религией – «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!» (1 Кор. 15, 32). Но современное потребление проявляется не только в гедонизме. Современное «статусное» потребление таково, что речь идет о потребительских и поведенческих кодах, подобных дресс-коду, от которых зависит социализация и социальная идентификация личности. И это, разумеется, затрудняет реализацию свободы выбора, дарованной человеку Богом.

Статусное, регламентированное потребление практикуется для удовлетворения комплекса социального превосходства или социальной «полноценности», оно превращается в ритуальную практику, направленную на символическое достижение воображаемого изобилия, полноты (ср. выражение «быть в тренде»), то есть некой гиперреальности, пародии на Эдем. Эти материально-символические практики представляют собой форму идолопоклонства, присущую секулярной квазирелигиозности. Навязанные модели потребления, несмотря на тезис о «свободе» и «открытых возможностях», несут в себе такое же рабство, как и принудитель-

ное производство, но рабство не физическое, а умственное и духовное. Религия потребления обращает человека в бегство от себя и дарованной ему Богом свободы выбора – к иллюзорному, мнимому выбору.

Отдельный и важный предмет для критики с христианских позиций – это «догоняющая» модель модернизации. К сожалению, данная идеология, будучи принята к исполнению, разрушает социальную структуру и духовную жизнь «догоняющих» обществ, но не позволяет приблизиться к кумиру даже в материальной сфере. Так называемое лидерство крупных экономических игроков оплачено ресурсами «догоняющих» – поэтому богатые государства продолжают обогащаться за счет всех остальных. Но реальная конкуренция – это конкуренция проектов, а не игроков одного проекта, осуществляемая по правилам, которые определяют монополисты.

Нельзя обойти вниманием и рост социального неравенства. Нередко социальное неравенство обосновывается социал-дарвинистскими и социал-расистскими идеями о «естественном отборе», «генетическом мусоре», «социальном балласте» и 85 % населения, которые составляют проблему для 15 % успешных. Все это напоминает о мрачных временах сословных обществ.

Несколько лет назад в лоне Церкви возник тезис: «Жизнеспособна лишь такая экономика, которая сочетает эффективность со справедливостью и общественной солидарностью» (Послание Предстоятелей Православных церквей от 12 октября 2008 г.). Для такого подхода объективно необходим суверенитет, приоритет национального права над международными квазиправовыми институтами. Последние, подчеркнем, не легитимизированы никакими электоральными и плебисцитарными процедурами.

Для реализации принципов нравственной экономики необходимо ограничить аппетиты транснациональных элит, легитимность которых близка к нулю, тогда как их влияние на мировую экономику безмерно. Эта диспропорция вместе с порождающей ее диктатурой корпоративного типа должна быть пересмотрена. Само существование таких элит представляет собой печальное наследие колониальной эпохи. Здесь надо начать с покаяния и компенсации со стороны ряда западных стран за колонизацию. Уверен, что со временем неизбежен международный суд над колониализмом и неонацизмом.

Пример современного неоколониализма – размещение золотовалютных резервов за пределами страны, обслуживание чужих экономик, внешний контроль за банковской сферой. Все это связывает национальные ресурсы и исключает нормальные инвестиции для собственного рынка, ведет к недомонетизированности периферийных экономик. Для решения многих из указанных проблем национально ориентированные специалисты предлагают национализацию банковской системы (но не производственного сектора).

Нельзя не отметить неограниченную эмиссию как единоличное право одного-двух мировых центров. Привилегии эмитентов недопустимы. Именно они привели к порочной модели стимулирования роста экономики за счет эмиссии долларов.

Современная долговая экономика основана на перекредитовании, которое представляет собой привычку брать займы у будущих поколений. Но основой экономики должны быть не умножение искусственных потребностей, не искусственная накачка спроса и не финансовые спекуляции. Людей приучили жить не по средствам. А теперь в России приходится в срочном порядке брать под контроль деятельность коллекторских агентств и спасать ипотечников, которые не в состоянии отдать валютный заем по новому курсу после спекулятивной девальвации рубля.

В мировом масштабе неограниченная эмиссия создает над экономикой навес из необеспеченной денежной массы. В какой-то момент начинается схлопывание финансовых «пузырей» («пирамид»), как было с американскими компаниями в 2008 г., а в конце концов и мировой финансовой системы в целом. «Лишние» деньги стоило бы направить не на бесконечное

формирование все новых и новых потребностей, но на преодоление социального неравенства, лечение болезней, заботу об экологии и на другие действительно полезные вещи, улучшающие жизнь всех членов общества, а не на вознесение одних людей над другими.

В сегодняшнем режиме санкций мы могли бы диверсифицировать экономику, ослабить ее кредитную и сырьевую зависимость, ввести собственную платежную систему и прогрессивную шкалу налогообложения, подумать о государственном контроле над банковской и культурной сферами. Тогда как в обычных условиях эти меры откладываются бесконечно, а любые инициативы вязнут в бюрократическом болоте. Сегодня у страны появился исторический шанс выскочить из экстенсивной модели зависимого периферийного развития.

Существование в качестве придатка разваливающегося, доказавшего свою аморальность и неэффективность проекта не совместимо с религиозной и цивилизационной миссией русского народа, а также самого российского государства. Православный взгляд на все сферы жизни, включая народ, экономику, основан на библейской ценностной базе. Россия, ее народ, ее традиции не могут подчиняться мировой корпорации во главе с неким советом директоров и выступать в роли «непрофильного актива». Важная задача сегодня – создать национально мыслящую элиту, слой «органических интеллектуалов», которая бы взяла на себя бремя выработки нового проекта развития и обеспечивала его теоретический потенциал. Мы стоим перед необходимостью возродить собственное проектное мышление в экономической, социальной и политической сфере. Это вопрос отнюдь не только национального престижа, но исторического выживания народа и государства.

Религия

Постгуманизм

Сегодня мы с прискорбием наблюдаем самую настоящую христианофобию, умело разжигаемую частью западного политикума. Речь не только и не столько об отношении к собственно религии. Речь о христианских ценностях, о константах той картины мира, с которой нам жить дальше.

* * *

Болезнь зашла слишком далеко. Дело здесь не только в моральной стороне вопроса, не только в том, «хорошо или плохо мы себя ведем». С потерей нравственных ориентиров общество теряет и идентичность, ощущение собственного «я». В психологии есть понятие «стадия зеркала» – это момент, когда маленький ребенок начинает идентифицировать собственный образ. При регрессе и распаде личности это самоощущение утрачивается, стадия зеркала приходится вновь, но уже в обратную сторону. Надо признать, что западный мир сегодня находится в шаге от этого исхода. А дальше – потеря исторической субъектности, выпадение из истории. Нельзя сказать, что общество об этом совсем уж не догадывается и этого не боится. Догадывается, и сигналы, в том числе по «каналам», связанным с Ближним Востоком, понимает правильно. Но, к сожалению, страх утраты себя, страх «расколотого я» пока еще не породил в обществе волю к целенаправленным действиям. Страх еще не мобилизует, но парализует, и это опасно. Как бы не опоздать.

Известно, что в медицине симптоматика служит отправной точкой для постановки диагноза и выбора лечения, но немалое значение имеет и анамнез – история болезни и сопутствующих ей факторов. Патриарх Кирилл говорит об этом так: «Мы сегодня говорим о глобальной ереси человекопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни. <...> И именно на преодоление этой ереси современности, последствия которой могут иметь прямые апокалипсические события, сегодня Церковь и должна направлять силу своей защиты, силу своего слова, силу своей мысли».

В западном обществе в результате сомнительного идеологического выбора назрел системный кризис, причем не одни только христиане ощущают на себе его последствия. Терроризм, как ни горько это осознавать, – одно из следствий идеологического монизма, который до сих пор нередко исповедуется западным политикумом под видом универсальных ценностей. И благородная идея защиты «прав человека», положенная в основу этой доктрины, ее, к сожалению, не спасает. Во-первых, потому что на практике такая защита, как правило, девальвирована избирательным подходом к субъектам права. Во-вторых, сама эта идея имеет больше одного прочтения. Например, христиане решают проблему в рамках *нравственного* права, на основе традиции и четких этических критериев, а общество модерна – с позиций формального *естественного* права, которое не гарантирует равной защиты правовым субъектам, поскольку границы прав одного определяются умозрительно, границами прав другого.

Вопрос о смене идеологической рамки западного общества давно витает в воздухе, об этом говорят и в Европе, и в США. Но далеко не все хотят этих перемен. Поэтому стражи неолиберальных догматов пока еще на всякий случай демонстрируют охранительный рефлекс и пытаются идти привычным шагом, не стремясь на ходу переобуться. Нетрудно предсказать, что спустя недолгое время именно эти люди впадут в другую крайность и сделаются «твердо-

каменными» фундаменталистами, ретивыми поборниками «устоев». Прокрутится это кино на наших глазах достаточно скоро. Но сегодня ломание копий по поводу антитезы «религия – секулярность» или «традиция – гуманизм» еще в тренде, и орто-дискурс пока еще представляется чем-то не совсем обычным. Поэтому как раз сегодня есть смысл еще раз сказать несколько слов о гуманизме, религии, секулярности и правах человека для разъяснения того, о чем на самом деле идет речь.

* * *

Со времен научного атеизма минуло больше четверти века, но еще жив стереотип, согласно которому человечество в эпоху модерна, постепенно отдаляясь от христианства, отдалялось от религиозности вообще, изымая из своего сознания категорию сакрального. В последние десятилетия эта философическая утопия была поколеблена учеными, да и самим ходом развития общества. Стало понятно, что секулярность есть не что иное, как инверсная форма все той же религиозности. Возникло понятие постсекулярности, очевидное для академической среды и интуитивно понятное обывателю, но отторгаемое влиятельной частью политикума. Попытки достучаться до него предпринимались многократно, но никакие «звоночки» и предупреждения не действовали на правящие элиты.

Сторонники секуляризма говорят о безрелигиозном обществе. Но тогда что такое «законы природы», которые можно и нужно «открывать», «естественные» права, наконец, что такое линейная модель истории, на которую они опираются, если не часть религиозного мифа? В неавраамических культурах модель времени циклична, в Писании она линейна. Откуда они взяли эту линейность, как не из Священной истории, приспособив ее для своих нужд и поменяв «настройки»? В итоге мы имеем нечто, что уже до нас сформулировали, например, так: «Нет бога кроме Прогресса, и Генри Форд – пророк его». Это – религия. Иная, нежели та, к которой мы привыкли, и – если смотреть с точки зрения традиции – с приставкой «квази-».

Трансцендентальная предпосылка всегда присутствует в человеческом мышлении, целеполагании и деятельности. Поэтому мифорелигиозная функция, попросту говоря, неустранима из психики человека. Человеческая психика структурирована таким образом, что в ней есть вакантное место Высшего Закона. Эту ситуацию мы изменить не в состоянии, а вот что именно будет содержанием и источником Закона, мы вольны выбирать. И если вы отказываетесь от Бога, то «богом» для вас становится что-то другое.

Философы полагают, что при отрицании какой-либо онтологии сама логика, точнее, сама парадигма этого отрицания автоматически получает статус новой онтологии. Тот же принцип работает и в сфере религиозного: система антирелигиозных взглядов сама построена на произвольных предпосылках и допущениях и тоже представляет собой мифорелигиозную конструкцию. Вот почему о секулярном гуманизме следует говорить не только как об идеологии, но и как о (квази)религиозной системе.

Например, профессор Йельского университета Харольд Блум опубликовал книгу «Американская религия», которая получила скандальную известность из-за утверждения автора о том, что Америка религиозна, но ее подлинная религия «не является христианской, по крайней мере, в европейском понимании, она, скорее всего, гностическая. Американская религия не верит и не полагается, она – знает, хотя всегда хочет знать еще больше. Американская религия манифестирует себя как жажда информации». Другой пример – концепция Маршалла Маклюэна о «неоплеменном обществе» в информационную эпоху, когда общее информационное пространство заменяет первобытный коллективный разум. Таких примеров много, но предупреждают они примерно об одном. Мифорелигиозный аспект не может быть устранен из коллективного и индивидуального сознания. Иными словами, общество выбирает не между религиозной традицией и «чем-то еще». Оно в широком смысле неизбежно выбирает между двумя

или несколькими религиями. Это если рассматривать ситуацию в статике. Теперь посмотрим на нее с точки зрения исторической динамики.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.